

ЖОУОЖЪ ВЪРЖЕЖА

№ 10196 ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, СРЕДА, 21-го ЮЛЯ (3-го АВГУСТА) 1904 ГОДА.

ПИСАТЕЛЬ-ХУДОЖНИК И ПАРТИЯ.

Смерть Чехова, во всякое время грустная, не почувствовалась бы так особенно остро, как ныне, будь иное литературное время. Но теперь, когда он стоял сейчас за Толстым, когда около Чехова и в уровень с ним называлось только имя авто-а «Сильного музыканта» (Вл. Короленко), и то почти переставшего писать; когда и в Европу торчали какими-то безстыдными флагами только «всемирное имя» Габриэля д'Аннунцио, и больше назвать некого, т. е. назвать сразу, без колебаний — потеря эта чувствуется чрезвычайно. Все талантливое — старое, уже почти не пишущее, во всяком случае ничего большого не обещает; а все новое, молодое — бесцельно... И это не в одной стране, не только у славян, но и у немцев, англичан, норвежцев, кельтов... И даже больше: это не в одной литературе, но также и в политике, стратегии, наконец — не в праве, в религии, в церкви... Пушкин спрашивал: «В чем этот таинственный закон, что в одну эпоху рождается столько гениев во всех областях творчества, в поэзии, в политике, а в другую, в следующую эпоху — вдруг не рождается ни одного гения и ни в одной области?» Вопрос великого поэта и мыслителя остался без ответа. Но во всяком случае мы теперь являемся зрителями, до какой степени *точно* это наблюдение: что и в области духа, как и в области растительности — то урожай, то голод...

Недавно я прочитал Сенкевича — тоже европейского — письма о Риме, о Венеции, о Париже... Все так обыкновенно! Не говорю о таланте: вить просто глаза наблюдателя, вить ума удивительного человека. Его прославленное «Quo vadis» — что такое, как не грубейшая олеография, фабричная, а не художественная работа. Сь двадцатой страницы ее читать невозможно.

В этом безвременьи, на этом безлюдьи — тьмой эпохи, всей цивилизации — Чехов стоял, вовсе не гигантского фигуру, как о нем посмертно «записали», без таланта, перья, во благородным, удивительным, талантливым лицом. Талант его всегда был и остался второго порядка: этого изумительного, титанического творчества, какое мы, слава Богу, видели у Гоголя, Толстого, Достоевского, конечно самых намеков на эти силы не было у Чехова, и он первый развивался бы, если бы стал у него их искать. Но он умел и тонкостью натуры стоял выше своего, в сущности очень грубого, времени: и, мнѣ кажется, он был обижень, оскорблен, помят как мотивами своего безразличия в начальную пору писательства, так и мотивами последующего своего признания. Не для ремесленника, а для художника — развить много значить «признание», «одобрение»? Конечно, не много, но много значить понимание, мотивы отклика. Если вы позволите Чехова «великим Паном» (бог «Всего» в языческом мире), или Шекспи-

ром, или Геркулесом, ну жели это будет сладко ему? Вероятно так же, как, если бы, будь иное литературное время, кто-нибудь ему сказал: «Э, да вы — «богатырь»! Он был «великий Пан», писал о нем один публицист; «он, если бы попал в дворянскую среду, вышел бы Пушкиным», писал о нем другой тоже публицист. Все эти суждения, как и привелось читать после его смерти, глубоко оскорбительны прежде всего для *акуса* умершего писателя. «Ну жели я не заслужил ничего, кроме шаржа?»

Покорного я не знал лично. А из воспоминаний лично знавших его людей меня поразило следующее:

— Что про меня писали! — возмущался молодой Чехов, вспоминая: «Что писали! Вить, вы отчасти! Скабический посылить мнѣ в «Новостях» фелетон, в котором называли меня «беспринципным» писателем. За что? Когда я был «беспринципным»? В чем?»

Да стоит ли, Антон Павлович... Но он, заговорив о том, что мучило его нездоровую обиду, не переставал: «Русская Мысль» — «Русская Мысль», которая через несколько месяцев печатала мой «Сахалин», что она про меня писала за книжку моих маленьких рассказов? За что? За что?»

Критика усмотрела в Чехове «второго Лейкина», и только. Но мнение это выражала так, что через 20 лет человек не мог забыть. Кажется, чтобы покончить с этой репутацией «беспринципного писателя, Чехов и поехал на Сахалин».

И поехал в отчаянии! — говорил он.

Изобилие статистических цифр, даже мшающее художественности чеховского «Сахалина» — было продиктовано, повсем ввротям, желанием Чехова доказать, что он «серьезен». В «Сахалине» вить того художественного поэта, какого мы в праве бы ждать от Чехова. Такой читатель, как Толстой, говорил о нем:

— Сахалин написан слабо.

Этим мы обязаны критике. Она связала крылья художнику. Она лишила Россию произведения, наивысшее бы равного «Мертвому дому».

Художник-белетрист ударился в статистику. — Да, подите! — сказал он однажды автору этих строк — написав «Сахалин» в белетристическом роде, без цифр! Сказали бы: «и здесь повсюду занимаешься». А цифры — оно почтено. Цифру всякий дурак уважает.

Так можно «задрать» писателя. (Воспоминания г. В. Дорошенича в № 133 «Русского Слова».)

И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а в вить. Страдания и радости переходили; оставили их, Бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслями; мы идичь друг в друг людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это длаает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы мы анали, были мы, как надобно мнѣ всеобщее безумие, бездарность, тупость, и сь какою радостью я всякий раз беседу с вами! Вы умный человек и я наслаждаюсь вами.

Сь другой стороны мы хорошо понимаем, как Н. Михайловский, останавливаясь на молодых рассказах Чехова, признавал в них талант собственно *писателя*, но всякий раз сострадательно указывал, что ничего извлечь из этих рассказов нельзя, так как в автор не видно сколько-нибудь определенных «убеждений». Было слишком прозрачно, что это значило в устах такого «направленного» критика. Прозрачно было и в смысле предостережения начинающему белетристу и в смысле зона, и в смысле некоторой угрозы. Но дирижерская палочка Михайловского махала не только над толпою сотрудников *своего* журнала, но сь нею сообразовались сотрудники еще дьлаго ряда других однородных журналов.

Собирая всю сумму этих данных, останавливаясь сь большим вопросом относительно литературы и начинаешь думать, не лежит ли в ней самой причина того приблизительно вырождения, упадка талантов у нас и в Европѣ, какое мы отметили в начале? Но «твердость направления» и в Европѣ та же, хотя может быть она и не высказывается нигдѣ так жестоко, как у нас. Литература раздвинулась на «программы действий» и требует от каждого нового писателя как бы подписи идейного «присяжного листа». — «Подпишись — и мы тебя прославим!» — «Ты отказываешься? Мы — проклинаем тебя». Всего этого нельзя осудить по существу. Литература и должна быть программна. Но это — дело очень сложное. И уж если партия хочет подчинять себя писателю, то она должна отнѣть давать ему удовлетворение в той умственной шире, духовной глубинѣ, всяческой идейной роскоши, каких писатель, особенно начинающий, точно также не в праве бы хотѣть, как партия со своей стороны хочет «точности исполнения». Вопрос в том, вь прав ли хозяин звать на пируество, когда у него вь дому заготовлен одиъ сусальный хлеб? Зовѣ пусть будет властен: но сь условием, чтобы позванные ни вь каком случае не остались голодными. Вот этого соотношения, да и самой догадки о необходимости его вь нашей литературѣ да и во всѣх — вить. Партия вербует; зовет и зовет; вы (единичный писатель) должны ей помогать. А вь чемъ она вамъ поможет? — это не тревожить ее совѣсти; что она *самъ* предложить вь качестве яств — обь этомъ нѣтъ вопроса у публицистических «новаров». Чехов тосковал. Онъ жаловался. Вотъ В. А. Гольцев, слышно, изготовил уже вь Историческомъ музее «комнату Чехова» и «принял» на себя хлопоты по устройству погребения.

А вь «комнату» положить сочинения и рукописи Чехова. Прекрасный гроб! А чѣмъ при жизни вы его кормили? Для своего воображения, для своего сердца, для своих дум, для своих общественных сомнѣний и тревог, для своей философии что онъ получал от вас? А вь философию было очень много у Чехова; прочтите хотя бы рассуждения о стоицизмѣ и стоицизмѣ вь «Палатѣ № 6» Увы, г. Гольцевъ дѣлаетъ чѣмъ не стоицизмъ, и вь томъ, что онъ «подписалъ присяжный листъ» такой-то рубрики убеждений, ничего рѣшительно о немъ неизвестно, никакой определенной мысли, ни одного ярко сказанного слова! Просто — гробовщикъ. Какъ гробъ сколотить Чехову — онъ знает, а о чѣмъ говорить сь Чеховымъ — онъ не знает. Итакъ, Чеховъ далъ ему и «направление» свое перо; но «направление», подчинивъ его сь критическими «шпигунствами», ничего рѣшительно отнѣть ему не далъ, что для Чехова было бы ново, осязатель, трогательно; что возводило бы и соблазнило его неиспытаннымъ соблазномъ. Чеховъ был «соблазнитель» для партии; вкусен. Но была ли партия для Чехова «соблазнительна», «чарующа»? обь этомъ — просто смѣшнѣе вопрос. И вотъ здѣсь начинается «роковое» нашихъ партий, ибо на этотъ жесткий судъ и осуждение — мнѣ нечего отвѣтить.

Программу ихъ мы признаемъ. Право страстного и властительного отношения кь писателю — опять же признаемъ. Признаемъ все, чего она хочет, и «не тожко за страх, но и по совѣсти». Но затѣмъ начинается ревизия ее багажа. Оказывается, какъ скверные интенданты время турецкой войны, она страдает, какъ Чеховъ, солдат своихъ, «сѣрую шинель» свою, коритъ тухлой говядиной, заплевываетъ сухарями. Оставилъ безъ воды и вина...

На этотъ неотступный вопрос — а ужъ позволѣте мнѣ быть строгимъ «по программѣ» же: — что же именно Гольцевъ сказалъ Чехову, чему научилъ его, какую ему «Америку» открыл, какъ вожь журнала? Что ему открыл такого интересного «Русская Мысль», «Р. Богатство», «Р. Вѣдомости»? Гдѣ и вь чемъ выразилась ихъ личность, талант, не сливаемые сь толпою, сколько-нибудь разграничивающиеся, такъ, чтобы невозможно было хоть пѣлые книги листовъ передвинуть по желѣзной дорогѣ изъ Петербурга вь Москву или обратно, передвинуть изъ редакціи одного журнала вь редакцію другого безъ малѣйшаго потрясения «образа мысли», безъ убои — откуда уходитъ бумага, безъ прибыли — куда уходитъ бумага. Все равно! На протяжении годовъ, десятилетій, — открываете ли вы

Литература конечно не можетъ быть чужда политическимъ мотивамъ, но литература вь томъ отношеніи неизмѣримо дѣнѣе и выше всяческой политики, что вь то время, какъ послѣдняя лишь «правитъ должностъ», — литература отражаетъ и выражаетъ полную личность. Снимите даже сь Акакия Акакиевича, сь Плюшкина тѣ конкретныя и уже вовсе не необходимые для чиновничьеского трудобѣды одного, для скуности другого — черты, какія нѣтъ придать Гоголю; опишите вь Акакиѣ Акакиевичѣ только механизмъ несправляемой имъ службы, а о Плюшкинѣ доложите: «деньги, деньги, деньги» — и поэзия Гоголя размывается, ей не на чѣмъ будетъ

однѣй журналъ, берете ли другой; берете ли за 86-й годъ, за 96-й и вьро за 1906-й: все равно, читаете то же, тѣ же издохи, извоики, хандры... и ту же вездѣ вь сущности умственную тупость, болѣзнь которой — нѣтъ нѣбуди отнѣть отъ стада; болѣзнь — нѣтъ нѣбуди принять на себя, отнѣть свои мнѣния, а не ссылокъ: «такъ думаетъ партия», «я — какъ всѣ». При всѣхъ усилияхъ вспомнить, размыслить ли вь котормъ-нѣбуди «пужикъ» ярий эпизодъ, сь многозначительными послѣдствіями, да даже просто сь ясно сказаннымъ словомъ, — при всѣхъ напряженіяхъ памяти — ничего не припоминается. Существовали. Прозаблѣли. Но — конечно не жили!

И вотъ тѣ, что они не жили, а чужой жизни сьбъ требовали — лежатъ грѣхомъ на партия. И вьз критичекъ напѣвъ Чехова не одна алѣтъ на бластательныхъ одеждахъ его могильниковъ. Слово мое жестоко. Но пусть. Ибо и они вьдѣ не были мятки кь покойному, сь требованіемъ отъ него «направленного паспорта», гдѣ было бы прописано: «сѣ — Чеховъ, либералъ, вѣдѣтъ на Сахалинъ».

И еще вопросъ: самое отношеніе кь писателю. Чеховъ конечно не безъ причины началъ свой *Сахалинъ* вь томъ самомъ журналѣ, гдѣ, всего за нѣсколько мѣсяцевъ, о немъ писалась критика, которой онъ «не могъ забыть 20 лѣтъ». Онъ вынужденъ былъ, какъ работъ, задавать вь сѣбѣ все негодование художника, поэта, мыслителя и войти на правахъ товарища вь толпу людей, его такъ же понимавшихъ (см. его признанія г. Дорошенича), какъ оселъ соловья вь извѣстной баснѣ Крылова. Гдѣ же это основаніе? Да очень простое. Чеховъ — мыслитель; онъ — лирикъ. А между тѣмъ могущество «направления», сплотившаго вь рукахъ своихъ самые видныя журналы, отнимало у него всю молодую, свѣжую аудиторию, до которой могли бы доставить его звуки, его тоска, его мысли. Или пой свои итѣи свободно — но ихъ никто не услышитъ; или ты будешь услышанъ: но пой итѣи по нашимъ ногамъ. Вотъ дилемма для человека XIX вѣка, который потерялъ всю соловьяную свободу, всю свѣжесть тѣсовъ вокругъ, ароматъ травъ; и видитъ только проволокъ клѣтки, которая никогда не раскроется иначе, какъ рукою его порабителѣ.

Литература конечно не можетъ быть чужда политическимъ мотивамъ, но литература вь томъ отношеніи неизмѣримо дѣнѣе и выше всяческой политики, что вь то время, какъ послѣдняя лишь «правитъ должностъ», — литература отражаетъ и выражаетъ полную личность. Снимите даже сь Акакия Акакиевича, сь Плюшкина тѣ конкретныя и уже вовсе не необходимые для чиновничьеского трудобѣды одного, для скуности другого — черты, какія нѣтъ придать Гоголю; опишите вь Акакиѣ Акакиевичѣ только механизмъ несправляемой имъ службы, а о Плюшкинѣ доложите: «деньги, деньги, деньги» — и поэзия Гоголя размывается, ей не на чѣмъ будетъ

держаться; останется голое имя порока или добродѣтели, и бить сатиры или лирики, который бьется о сухую палку сь именемъ. Вотъ разница между политикой и поэзией. Политика входитъ вь поэзію: но какъ скелетъ, одѣтый плотью, нервами, красотой, блѣдностью ливитъ, синиетъ вьзора — что все же не есть скелетъ и даже сь нимъ не связано, а вытѣкло таинственнымъ организмомъ человека, вь сущности — душою его, какъ ея же сложены, и параллельно, а не заискиво, и сплететъ его. Великіе поэты, какъ Байронъ, какъ Шиллеръ, даже какъ Гете или Пушкинъ, не могутъ не быть «гражданами» и сѣдоватою очень определенными политиками, сь совершенно определенною программой; но они сѣ не заискивали ни откуды, не подписали «присяжный листъ» партии, а она вытекла изъ всего склада благородной души ихъ и изъ жизненного ихъ опыта, изъ испытаний. И будѣте утверждены, свѣдите Байрона, Шиллера, Пушкина. Гете вь одну комнату и дайте имъ одну тему, одинъ вопросъ для дебатирования, — они никогда не кончили бы рѣчей своихъ, горячихъ споровъ, сь лихорадочными преками, сь блестящими глазами, а слушателямъ было бы чему научиться изъ этихъ споровъ, а если бы стенографировать ихъ рѣчи — вышла бы превосходнѣйшая политическая литература, не вь уровнѣ сь «политическими» и «ежемесячными обзорѣями» нашихъ журналовъ. И Гете, и Байронъ, страшно расходивъ вь возрѣвѣихъ, однако страшно сошлись бы вь нѣкоторыхъ утвержденіяхъ, а главное — все поняли бы другъ вь другъ и все бы отшлифовали. И вь насъ первоначально были вь литературѣ какъ бы философская и поэтическая личности, т. е. литература раздвинулась не по программамъ вовсе, а какъ бы слагалась, туманно колебалась, вь нѣсколько *духовныхъ* личностей, сь длинными чертами, сь неясными границами, — полныхъ движенія и перемены. Вьдѣ лицо свѣтлѣетъ и плачетъ, трагично и весело, убѣждается и разубѣждается, вь противоположность карикату, который вьчно убѣждаетъ, что ему «надо лежать». И хотѣ эти сказать не то одно, что вь литературѣ дѣйствовали замѣчательныя личности, а что она сама, эта литература, какъ бы распадалась на нѣсколько философско-поэтическихъ *олицетвореній*. И вотъ эти прекрасныя и глубокія олицетворенія не дозволяли бы никогда коснуться себя, спуститься кь сѣбѣ такому жестокому, грубому и ограниченному явлению, какъ *партия*. Приняли бы сѣ себя программу; но никогда не слезли бы сь программы. «Я, Пушкинъ — либералъ»; «я, Лермонтовъ — протестующая личность». Фу! Здѣсь ходили тѣи почерты теперешнихъ; были штаты, были и грозы. Была ночь и былъ свѣтъ. И все это просто отъ того, что человекъ не переставалъ быть человекомъ, не позволялъ вынуть изъ черепа у себя глазное яблоко, остричь волосы, снять одежды, выдернуть нервы — и оставить одиъ безжизненный костякъ, ливитъ которого показывають «линія убѣждений». Что мнѣ говорить сь такими? Что можно дѣлать

сь такою «партией»? Можно только толкнуть ногой эту мушкетеръ, — вь отнѣтъ на приглашеніе подписать «присяжный листъ» ея. И не по разности: а просто по презрѣнію ко всему существу дѣла.

Либералы наши давно только лежачими, т. е. довольствующимися занятіемъ положеніемъ, не двигавшимъ шагу впередъ, особенно — не двигавшимъ вь сторону, не развивавшимъ, не усложнявшимъ. Всякій ростъ есть усложненіе: а юнъ оно у нихъ? Говоря языкомъ 40-хъ годовъ, они потеряли въ сѣбѣ *Нисаніи*: изъ нихъ испарилась всѣ благовоныя частицы воображенія, сердечности, проириания вьнутрь вещей, даже простого «обития мысли». «Вѣли possidentes», говорили они дремливо, занявъ мѣста, гдѣ трудился, страдали и были вь высочайшей безпокойствѣ Станиславъ, Гравоскій, Герценъ, Бѣлинскій и болѣе даровитые изъ «шестидесятниковъ». Вьдѣ и про Чернышевскаго нельзя сказать, чтобы онъ не боролся, не придумывалъ, не спорилъ, не «реагировалъ на впечатлѣнія». Но на какія же впечатлѣнія «реагировалъ» всѣ перечисленные выше органы, если не принять во вниманіе маленькую злободневности и усѣбички по поводу злободневности, т. е. какую-то такую «внутреннюю хронику» души, которую рѣшительно нельзя отличить отъ блаженного сна. Вотъ это сознательное, «вѣдѣланіе» вь практикѣ при отрицаніи «вѣдѣланія» вь теоріи — и составляетъ тяжелый историческій грѣхъ партии, куда попалъ Чеховъ; и былъ долженъ усидывать вь нее понасть, ибо, занимая мѣста «пророковъ и законодателей» литературы нашей ливитъ, — она одна видима, слышима, внимаема.

Наивно слово мое бесцельно. Но когда-нѣбуди надъ вопросомъ здѣсь поставленнымъ задумаются: именно, что же вь данномъ текущій моментъ русскіе нововѣствующие между собою литературные лагеря даютъ живой душѣ, сь «сѣровъ, надеждой и любовью» входящей вь нихъ? Что даютъ таланту наши «направления»? Ему они не даютъ никакой шири, содержательности; не даютъ вь то же время и развернуться, какъ просто личности, суживая своими рамками. «Войди и умирай»: какъ страшно это сказать о мѣстахъ, о которыхъ никогда говорили: «войди — и оживешь».

И между тѣмъ роковое положеніе еще утяжеляется тѣмъ, что вь частности, напиривъ программа «Русской Мысли» — добрая, нужная. Всѣ буквы вь ней вьтѣри; но всѣ буквы не шевелятся. Россия точно укушена и нѣсколько больша свобода, даже очень больша; и вѣмство, и самоуправленіе, словомъ — всѣ «пункты», какіе выставлены. Но вь рядѣхъ партии вьтѣ... одушевленія, что да, или таланта вь отношеніи къ самимъ этимъ «пунктамъ». Здѣсь я не разужу талантъ *литературно* выражения, талантъ *мастерства* словеснаго, — а единственно и исключительно талантъ *самой души* (вѣдѣ «душа» отъ слова «вдохновение»? И «вдохнуть» «душу» вь человека Богъ). Говорю это не отвлеченно; но какъ бывшій участникъ петербургскихъ «религиозно-философскихъ собраний» — говорю испи-

татъ in concreto, что значила бы маленькая прибавка кь свободному дугу нашего общества и вѣнчанію нашихъ условий. Помню и опасные походы противъ «Собраний» — «Московск. Вѣдомостей»; и тревожные «дневники» кн. Мещерякова. Итѣ, «доу» нашего консерватизма а вьнѣтъ на синій свѣтъ. Но и она не погнала бы меня вь лагерь, vis-à-vis стоярѣ: просто — нигдѣ бы не погнала. Никуда вѣдѣ. Не кь кому. И вѣтъ это — чрезвычайное грустное положеніе какъ русскаго писателя, такъ и вообще русскаго литератора текущаго момента, послѣднихъ 10—15—20 лѣтъ. Послѣднее изъ нашей литературы. Вся литература вьсложно поустѣлилась. И это отражается на положеніи талантовъ: они-то даютъ литературѣ то сколько-нибудь, аскору отъ себя; а изъ литературы вьнѣтъ тока изъ нихъ не идетъ, дабы лична ихъ испорка разрослась вь пламя. Посмотрите, какіе особенныя таланты были вь Крѣпостнѣ, вь Ласковѣ, вь перовичѣхъ Диккенса — Н. Введенскому? Да и еще во множествѣ личностей даже меньшаго калѣбра. Что особеннаго представлялъ собою Станиславъ? Или — вѣдѣ «Семейной хроникѣ» — С. Т. Аксаковъ? Поразило, до чего всѣ другія сочиненія, оставшіе отъ Грабова, ничтожны, крохъ «Гора отъ ума». Былъ великодушнѣйшій шалунъ и потомъ дипломатъ; и не будѣ вѣдомостей, впечатлѣній отъ Батюшкова, Пушкина, Крылова (имѣлъ его басень), Жуковскаго, онъ могъ бы навсегда остаться сь «Грушиной волей», сь комедіей, написанною совместно сь Шаховскимъ, и тѣснѣе передаваемыя изъ устъ вь уста острога, никогда не переда въ трудъ великаго комедии. Ярка ли была творческая порыва вь самомъ Жуковскомъ? Какъ грубо быталъ Некрасовъ! Но всѣ эти далеко не первосортныя души получили во времена своихъ, вь окружающей литературѣ — темы, толчокъ, порывъ, технику; получили интересъ жить и многозначительность положенія. Катится могучая река, и неинтересный будничность сливается вь разнотѣный узорчатый камешекъ, который дѣбуетъ путешественника.

Вотъ этого-то «тривенія» времени и не переживаютъ писатели нашихъ дней, этого вдохновенія, которое бы дало вѣтеръ вь крылья. Все мокро, сѣро. Дождитъ. И вьнутрь крылья вь туманѣ, не подымаю вверхъ. Это очень примѣна къ Чехову, вь грусти его, тоскѣ его; кь сѣрости сознания, ливѣ, положенія, какими наполнены его мысли, привѣтливая созданія. Всѣ они похожи на степь сь колокольчиками. Но «среди долинъ ровныхъ», какъ поется вь пѣсенкѣ, не зеленеетъ «могучаго дуба».

И между тѣмъ само общество, вокругъ литературы, гораздо болѣе, чѣмъ она, одушевлено. Общество вообще интереснѣе теперь, чѣмъ литература — и это есть страшная и роковая для литературы черта. Какъ отозвалось оно на смерть Чехова! Это — кошмарный симптомъ. Общество не дремлетъ. И рѣшительно нужно поддѣяться литературѣ.

А. Романовъ.